

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## ЖРЕЦЫ И ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА

### ХV. БЕДНЫЙ БАДРИ...

*“Сколько вам заплатил этот жид?”*  
“Коммерсант”

В конце 2007 года во время предвыборной борьбы за кресло грузинского президента еженедельник “Коммерсант” опубликовал репортаж, который был тут же перепечатан русскоязычной американской газетой “Форум” с заголовком “Скандал в Грузии”:

*“В предвыборной Грузии разгорелся очередной скандал: оппозиция обвинила власти в антисемитизме. За последнее десятилетие это первый скандал в Грузии, связанный с разжиганием межнациональной розни.*

По мнению оппозиции, власть, опасаясь, что кандидат в президенты Бадри Патаркацишвили составит на выборах реальную конкуренцию действующему главе государства, решила напомнить, что бизнесмен не принадлежит к “титульной национальности”.

Скандал поднял руководитель предвыборного штаба бизнесмена Бадри Патаркацишвили, депутат парламента Валерий Гелбахиани, созвавший брифинг, на котором и прозвучали обвинения в адрес грузинских властей.

В качестве главного обвинения, прозвучавшего в адрес властей, соратники кандидата Патаркацишвили назвали разжигание антисемитских настроений. По их мнению, таким образом власти пытаются унижить кандидата Патаркацишвили и помешать ему стать президентом. Стоит отметить, что вскоре после того, как Патаркацишвили официально ушел в оппозицию, власти стали постоянно намекать на его еврейское происхождение: например, чиновники перестали называть его Бадри, а употребляли исключительно его малоизвестное “негрузинское” имя Аркадий, записанное в паспорте.

Во время разгона митинга 7 ноября “антисемитская” тема впервые была озвучена открыто – спецназовцы, разгоняющие толпу, называли демонстрантов “пособниками урия”, то есть “пособниками жида”, а также выкрикивали фразы: “Сколько вам заплатил этот жид?” и “Вашу жидовскую мать”. Частично эти выкрики были записаны оппозицией на мобильные телефоны, и одну из таких записей в воскресенье вечером продемонстрировала телекомпания “Имеди”. Комментируя эти факты, Гелбахиани обратился к специальному прокурору Гаагского трибунала с требованием возбудить против грузинских властей уголовное дело.

*“Это хороший симптом для Грузии, что грузинский еврей Бадри Патаркацишвили баллотируется на пост президента и имеет реальный шанс победить, – заявил Гелбахиани. – Грузинский и еврейский народы объединяют 26 веков дружбы. Но то, что власти раздувают антисемитскую тему, очень*

Продолжение. Начало в № 1–6 за 2010 год.

*опасная тенденция. Значит, они не могут бороться с Патаркацишвили другими, законными методами”.*

*Патаркацишвили уже подал жалобу в генпрокуратуру Грузии, в которой он констатирует нарушение прав человека в отношении себя и своих родственников. В ближайшее время кандидат подаст иск в Международный суд в Гааге – в нем он намерен обвинить власти в разжигании антисемитизма и межнациональной розни”.*

Но удивляться нечему: вполне закономерно то, что в Грузии впервые за “26 веков дружбы” появились опричники, которые стали разыгрывать в политической борьбе еврейскую карту. Эти преторианцы заразились антисемитизмом от своего хозяина Саакашвили, подхватившего в свою очередь дурную болезнь от друга Ющенко. Все закономерно: за что боролись – на то и напоролись. Но неужели не отдавали себе отчет архитекторы и организаторы “перестройки” в том, что развал Советского Союза неизбежно должен привести к вспышкам открытого антисемитизма в бывших республиках, или у них ума не хватало просчитать все последствия своего замысла? Ведь помимо ключевых фигур (Горбачев, Ельцин, Яковлев) августовского переворота (1991 г.) и октябрьского кровопролития (1993 г.) историю в это время творили не только Чубайс с Гайдаром, но и целая свара еврейских функционеров рангом помельче – Немцов, Ясин, Явлинский, Лифшиц, Уринсон, Лойко-Шомберг и т. д.

Рано или поздно им всем при жизни или посмертно придется отвечать за юдофобскую волну, искалечившую судьбы многих ни в чем не повинных евреев из Прибалтики, Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и, конечно же, из некогда любимой мной Грузии...

\* \* \*

Я очутился в Тбилиси осенью 1964 года, когда меня, как писателя и офицера запаса, направили на двухмесячные сборы в армейскую газету “Ленинское знамя” Закавказского военного округа, где главный ее редактор полковник Головастикив сразу же приказал мне отредактировать и подготовить к печати небезынтересные, но полуграмотные, написанные косноязычным русским языком воспоминания знаменитого еврея генерал-майора Драгунского, ставшего впоследствии при Брежневе главой антиссионистского Комитета советской державы. После того, как я успешно привел в божеский вид мемуары Драгунского, полковник Головастикив дал мне полную волю, и я днем, находясь якобы на службе, резался в волейбол на редакционном дворе или играл в азартные шахматные пятиминутки с поэтом и сотрудником “Ленинского знамени” Владимиром Мощенко, а по вечерам кутил в ресторанах с грузинскими молодыми поэтами.

В коридорах “Ленинского знамени” я встретился с Александром Межировым и благодаря ему в тот же вечер очутился в громадной и запущенной квартире, где хлопотала Сима Фейгина, уютная круглая женщина в домашнем халате, с обожанием смотревшая на своего мужа Эму, автора книги о легендарном еврее, Герое Советского Союза Цезаре Куникове.

В доме Фейгиных я познакомился и со всей еврейской литературной знатью, жившей тогда в Тбилиси...

Эма и Сима были добродушными, всегда улыбающимися и добродушными людьми. Эткими старосветскими помещиками еврейского происхождения. У них не было своих детей и, может быть, поэтому они стали относиться ко мне с каким-то родственным чувством: кормили, оставляли ночевать, восторженно внимали моим стихам.

В фейгинских застольях, как правило, принимали участие трое друзей – поэт Шура Цибулевский, литературный критик, и виртуозный тамада Гия Маргвелашвили, а третьим был художник, поэт и авантюрист Гоги Мазурин, в послевоенной юности тачавший модные туфли для тифлисских красавиц. На следующий день после знакомства с Фейгиными я уже бродил по древним улицам Тифлиса в сопровождении Шуры Цибулевского, бормотавшего, как заклинания: “Верейский спуск”, “Винный подъем”, “Авлабар”... Мы дошли до двухэтажного деревянного дома с обветшалыми балконами, лестницами и балюстрадами, погрузились на ощупь по темному коридору в его чрево, источающее кислые запахи грязного белья, примусов и керосинок, и, натыка-

ясь на потемневшие от времени цинковые ванны, на древние велосипеды и прочие реликвии местечкового быта, наконец-то вошли в комнату, где жил, кажется с мамой, и сочинял свои стихи Шура Цибулевский. Он достал из-под стола бутылку мукузани, обтер с нее пыль и разлил темное вино в граненые стаканы. Мы выпили, закусили чурчелой, и Шура тут же, обратив ко мне свои библейские глаза, умоляющие о внимании, что-то забормотал в рифму из своей первой, только что изданной под жеманным названием “Что сторожат ночные сторожа” книжки.

В его витиеватых стихах, сплетенных из обрывков чувств, картин и мыслей, угадывалась судьба – горестная, одинокая и даже лагерная.

*Откуда запах горьковатый?  
Так мог бы пахнуть керосин.  
Ужель команда огневая,  
Бредбериевщины фантом?  
Нет, это маме наливает  
Наш керосинщик в наш бидон.*

У Шуры было красное веснушчатое лицо, седая кудлатая голова с рыжими подпалинами. А в глазах стояла застывшая, непреходящая печаль, то ли наследственная еврейская, то ли, как я потом узнал, благоприобретенная, советская, лагерная. Я не спрашивал его о происхождении этой печали, но по одному слову “бредбериевщина” умному человеку можно было понять, что речь идет не об американском фантасте Рее Бредбери, а о знаменитом сталинском опричнике, уроженце Грузии. Когда я осторожно высказал Шуре свое предположение, он растрогался и тут же с детской непосредственностью подарил мне свою первую книжечку, видимо, бесконечно ему дорогую, с размашистой искренней надписью: “Стасик дорогой – благодарю и целую – Шура”...

С тех пор наши встречи, во время которых мы читали друг другу Мандельштама и Заболоцкого, стали постоянными и трогательными. Он всегда был благодарен мне за мое молчаливое понимание его судьбы и на титульном листе своей последующей книги “Владелец шарманки” написал: “Стасик – напоминаю о шарманках, Тбилиси и тбилисцах, встречах. Обнимаю. Твой Шура”. Точных дат, когда сделаны эти автографы, Шура, как настоящий вдохновенный заложник вечности, конечно же, не ставил. Через тридцать с лишним лет после наших свиданий, уже после смерти Шуры я прочитал в книге еще одного нашего соучастника тбилисской жизни Бориса Гасса о том, что Цибулевский в юности был дружен с Булатом Окуджавой. “Они вместе учились в университете, проходили по одному делу... Шура, как и Булат, был членом литературного кружка “Молодая Грузия”, при обыске у него нашли первое издание “Уляяевщины” Сельвинского с подчеркнутыми карандашом строчками о том, что лиру не отдаст ни третьему отделению, ни особому отделу номер три. Ему приписали статью “по знанию и недонесению”. За это Шура получил десять лет. Последние годы заключения Цибулевский провел в городе металлургов под Тбилиси. Там он подружился с двумя талмудистами и при каждом свидании просил приносить ему картошку и лук – кошерную пищу для новых товарищей... “Все дерутся за баланду, а эти верующие евреи соблюдают кошерность и ведут религиозные споры”. Вспоминать или писать о тех временах Шура не любил”. Да, это правда – не любил. Но то, что его могли посадить на 10 лет за чтение широко известной в 30-е годы и не запрещенной поэмы Сельвинского, много раз издававшейся в советское время, я не верю. Да и о своих лагерных связях с талмудистскими евреями он мне не рассказывал, и не было в его стихах и прозе ничего ветхозаветного или талмудического.

В те времена Шура Цибулевский, возможно, следуя своему кумиру Осипу Эмильевичу, изо всех сил убежал от хаоса иудейского, сгустки которого, как я понял впоследствии, живут в душе почти что каждого еврея. И проза и стихи его были трогательно несамостоятельны, похожи своей бессвязностью и разноцветностью на переливы калейдоскопа, наполненного осколками стекла, обрывками чувств и ощущений, в которых то и дело вспыхивали мандельштамовские искорки: “шьют воздух синие стрекозы”, “вдрук за столом бутылка бренди! Ужель то самое?! На дамбе вкусим его и покорим. По-го-ворим о Мандельштаме, поговорим и погорим. Все так же ли Орланд неистов? А скат шинели тех годов? Что ж, серая, и я готов... Привет, “кузнечик муску-

листый”. В этих отрывках каждое второе слово — мандельштамовское, да и самого себя Шура ощущал, неким грузинским двойником Осипа Эмильевича, и в его покорности мелодиям любимого поэта было нечто наивное, беззащитное и фатальное. И конечно же, подражая своему божеству, он не мог не написать “Стихи об Армении”, переполненные “мандельштапами”: “И не купить у Арарат-Горы”, “мура”, “колючий быт”, “брадобрей... он мылит щеку” и так далее.

Да и вся его путевая проза о Бухаре, о Туркмении, о Дагестане была как бы зеркальным отражением мандельштамовского очерка об Армении. До осознания своего еврейства Шура должен был пройти длинный путь освоения чужих миров, соблазнительных именно своей чуждостью.

*“Дербент. Море горьковатое. Чуть горьковатое. Без листьев, но с водорослями дружественными, и тает лодка. Жара. Безумие. Жара. И все чепуха, как этот лимонад. И снова библейские старцы. Родиться евреем, родиться еврейкой в Дербенте, в Дербенте. И ходить на базар — ей, и в чайную — ему, и в баню по воскресеньям. По аллее с листьями, в рубаше, прилипшей к спине. Хорошо в дербентской бане. А часы в Дербенте показывают разное время. Оно разных планет”.*

Перечитываю его наполненные испугом перед жизнью стихи и бессвязную “бесскелетную” прозу и с тоской понимаю, что не смог бы он остаться в нынешней “свободной” Грузии, но и в новой России делать ему было нечего. Скорее всего, он совершил бы побег в “иудейский хаос”, уже поджидавший своего очередного “усталого раба”, свою очередную жертву...

Иногда мы с Шурой совершали незабываемые прогулки по пустынным улицам ночного города, разгребая ногами желтые ручьи платановых листьев, вдыхая потоки свежести, плывущей из влажного каменного русла Куры.

Шура знал, возле каких духанов еще доживают век бродячие шарманщики. Они крутили ручку своих разноцветных шарманок, из чрева которых вылетали наивные звуки старинных мотивов, однажды вылетела мелодия моей любимой с детства песни “По диким степям Забайкалья”...

*Шарманка — забытое чудо —  
откуда взялась, не пойму!  
Я так и не понял откуда,  
но вспомнил свою сторону,  
когда, то звеня, то рыдая,  
из ящичка вывалось вдруг:  
— “Бродяга, судьбу проклиная!” —  
стакан повалился из рук.*

Эту песню на послевоенном калужском базаре хриплым голосом исполнил слепой инвалид, отчаянно терзая гармошку.

Иногда мы с Шурой заходили в ночные пекарни, которых было много в тогдашнем городе. Мы смотрели, как люди в фартуках, рукавицах и белых колпаках время от времени склонялись над печами, похожими на громадные глиняные горшки, зарытые в землю, снимали с их внутренних стенок горячие лепешки и пришепывали к раскаленным стенкам кругляши из свежего теста. Шура что-то говорил пекарям по-грузински, показывал на меня, а в ответ всегда слышались радушные слова, а иногда дружеская рука протягивала нам по стопочке чачи и по куску горячей лепешки... Однажды на рассвете в ограде Кошуэтской церкви мы увидели мужчину и женщину, которая тащила за собой на веревке барашка. Мужчина связал ягненку ножки, повалил его в траву и перерезал животному горло, а женщина, набрав горячей крови в глиняный кувшин, смяла заросли крапивы вокруг церковного фундамента и окропила свежей кровью все четыре угла древнего храма. Следом за ней шел мужчина, который целовал окропленные жертвенной кровью камни. Шура поговорил с ними и объяснил, мне, что у этой крестьянской семьи кто-то очень болен или при смерти и этот древний обряд — последняя надежда.

Умер Шура в середине 80-х годов, не пережив измены своей жены, соблазненной каким-то московским литератором, прохвостом-переводчиком. Слава Богу, что он не дожил до эпохи Саакашвили, когда в антисоветской и антирусской Грузии евреев, укорененных со времен Багратидов в историю и почву, стали называть “жидами”.

Ближайшим другом Цибулевского был Гия Маргвелашвили, маленький, лысенький, усатый человек с кругленьким брюшком и походкой Эркюля Пуаро из известных фильмов. Почему он считался в Грузии выдающимся критиком и вообще властителем дум, приезжим людям понять было трудно, поскольку Гия в 60-е годы почти не писал ничего примечательного. Но когда он приподымался над застольем в белой рубашке, с волосатой грудью, и озирал орлиным взором сквозь толстые линзы своих очков наши восторженные лица, все замирали в ожидании устного шедевра, который будет сотворен на наших глазах. Многих изощренно и вдохновенно витийствующих трибунов я слышал в дни тех незабвенных кутежей – и Бесо Жгенти, и Отара Чиладзе, и Резо Амашукели, но этот невзрачный на первый взгляд грузинский еврей превосходил их всех в ритуальном священнодействии. Он начинал свою речь изда- лека (“поэт издалека заводит речь!”), медленно и загадочно импровизируя, словно какой-нибудь Луи Армстронг на саксофоне, менял регистры от “форте” до “пиано”, неожиданно взмывая до немыслимых красноречивых высот. И никогда он не повторялся, и никогда никто не мог предугадать ход его витиеватой мысли, которая, подкравшись к финалу, вдруг взрывалась, как фейерверк, последней искрометной фразой, прославляющей или одного из нас, сидящих за этим столом, или всю Грузию в целом, а то бывало, что и за Россию мы выпивали, восторженно распрямляясь во весь рост и опроки- дывая в разверстые рты какое-нибудь кахетинское, воспетое Осипом Ман- дельштамом:

*Кахетинское густое  
хорошо в подвале пить,  
пейте вдоволь, пейте двое —  
одному не надо пить.*

Правда, злые грузинские языки в минуты редкой откровенности говорили мне, что у красноречивого Ги рыльце в пушку, что в конце сороковых годов, в эпоху борьбы с космополитизмом, молодой критик, успешно делавший карьеру, написал какую-то статью, в которой приклеил ярлык космополита к славному облику своего учителя Павла Антокольского, талантливо и обильно переводившего в послевоенные годы на русский язык лучших поэтов Грузии. Но, как говорили те же языки, с той поры столько воды утекло, что и сам Павел Григорьевич то ли забыл все, что происходило во времена “культы лич- ности”, то ли простил своего легкомысленного соплеменника. Да и Гия са- моотверженной застольной работой во имя грузинской литературы давно и с лихвою искупил все грехи своей неразумной молодости.

Впрочем, несколько позже, когда я стал серьезно изучать литературную атмосферу 30-х годов, я обнаружил в недрах Ленинской библиотеки стихо- творный сборник “Павлика” (как называли Антокольского в либеральной мос- ковской среде) с названием “Ненависть”, в котором с искренним пафосом воспевалось все то, что впоследствии стало называться “Большим терро- ром”... Так что “Павлик” во искупление своих грехов мог быть наказан явле- нием Ги Маргвелашвили...

Многие ветераны советской литературы в эпоху “оттепели” как бы обре- ли, если говорить словами Пастернака, “второе рождение” Известный критик Иосиф Гринберг, прославлявший в 30-е годы чекистскую поэзию Эдуарда Ба- грицкого и утверждавший, что его “поэзия затмила и отодвинула в сторону по- эзию Есенина”, в 60-е годы, встречаясь со мной во дворе нашего писатель- ского кооперативного дома, с азартом расспрашивал меня, вернувшегося из Тбилиси, как там поживают Симон Чиковани или Карло Каладзе, и, закаты- вая громадные черные глаза и вздымая выбритый до синевы подбородок, на- чинал с артистическим завываньем читать грузинские стихи Осипа Мандель- штама:

*Человек бывает старым,  
а барашек молодым,  
и под месяцем поджарым*

С наслаждением продекламировав изящный стишок Мандельштама, за-  
павший ему в душу с молодых лет, Иосиф Львович склонил ко мне на грудь  
свою седую шевелюру и проникновенным голосом спросил: — А как там в Гру-  
зии принимали нашу Белочку?

Белла Ахмадулина как раз в то время становилась культовой фигурой в  
среде русскоязычной и грузинской интеллигенции, особенно после стихо-  
творенья, где изображался обед на даче переделкинского критика, в кото-  
ром Гринберг мог узнать и себя и восхититься фрондерской строчкой: “За  
Мандельштама и Марину я отогреюсь и поем”. Я порадовал душу старого  
еврея Гринберга, рассказав ему, что “Белочкой восхищалась вся грузин-  
ская интеллигенция”, особенно после того, как она в Кахетии, куда нас при-  
вез Иосиф Нонешвили, на веранде деревенского дома, увитой виноградны-  
ми лозами, после того, как в застолье Феликс Чуев провозгласил тост за  
“великого сына грузинского народа Иосифа Виссарионовича Сталина”, ныр-  
нула на мгновение под стол, сорвала со своей ножки туфельку и, отчаянно  
взвизгнув, запустила ее, как из пращи, в закоренелого сталиниста... За-  
столье после подобного скандала должно было бы немедленно развалиться,  
но положение спас кто-то из грузинских евреев: то ли Боря Гасс, то ли вез-  
десущий Гия Маргвелашвили. Не дав никому опомниться, он подхватил чуть  
ли не на лету туфельку, мгновенно плеснул в нее дымящейся виноградной  
водки и выпил сразу за обоих именитых гостей — за поэта с огненным граж-  
данским темпераментом Феликса Чуева и за божественный лирический та-  
лант Беллы Ахатовны.

На другой день весь литературный и даже партийный Тифлис полнился  
слухами о происшедшем. Потрясенный случившимся бывший ЗК сталинской  
эпохи Шура Цибулевский даже написал стихотворенье о том, как Белла после  
вечерней пьянки восстанавливает свою красоту при помощи народных снадо-  
бий, именуемых “хаши” и “чача”, с эпиграфом из ее же стихотворенья: “обуг-  
ленных желудков черноту позолоти своим подарком хаши”.

...Выслушав мой рассказ, старый, умудренный жизнью еврей Иосиф  
Львович Гринберг, не говоря ничего лишнего, еще раз, как замороженный,  
пробормотал мандельштамовскую строчку: “пейте вдоволь, пейте двое, одно-  
му не надо пить”...

Ахмадулина, швырнув в Чуева туфельку, тут же стерла со своего лица гри-  
масу отвращения, словно актриса, сыгравшая роль и тут же позабывшая и о  
Сталине, и о Чуеве, и о туфельке.

Помню, что именно это удивило меня на той пахнущей орехами, виногра-  
дом и киндзой веранде, но много позже, прочитав книгу дневников ее быв-  
шего мужа Юрия Нагибина, я понял, что такого рода сцены во время засто-  
лья были у нее хорошо отрепетированными акциями “пиара”, если говорить  
сегодняшним языком. Нагибин рассказывает, как однажды в ресторане Дома  
литераторов он увидел компанию во главе с Евгением Евтушенко, который  
пригласил его за свой стол:

*“Компания сидела на веранде за довольно большим столом, кругом ни-  
кого не было, видимо, Женя распорядился не пускать “черную публику”. Он  
угощал своего боевого друга, корреспондента “Правды” во Вьетнаме, куда  
Женя недавно ездил. В подтексте встречи подразумевались подвиги, боевая  
взаимовыручка, спаявшая навеки правдиста и поэта, и прочая фальшивая че-  
пуха. Но в глубине души Женя не очень доверял своему соратнику и нес ан-  
тиамериканскую околесицу. Ахмадулина решила отметить мое появление то-  
стом дружбы:*

— Господа! — воскликнула она, встав с бокалом в руке. — Я пью за Юру!..

— Сядь, Беллочка. Я не люблю, когда ты стоишь, — прервал Евтушенко,  
испуганный, что Ахмадулина скажет обо мне что-то хорошее. (Испуг его был  
лишен всяких оснований).

— Я должна стоять, когда говорю тост. Я пью за Юру. Пусть все говорят,  
что он халтурщик...

— Сядь, Беллочка! — мягко потребовал Евтушенко.

— Нет, Женя, я и за тебя произносила тост стоя. Так пусть все говорят,  
что Юра киношный халтурщик... — она сделала паузу, ожидая, что Женя ее

опять прервет, но он внимал благосклонно, и Белла обернулась ко мне. — Да, Юра, о тебе все говорят: халтурщик, киношник... А я говорю, нет, вы не знаете Юры, он — прекрасен!.. — И она пригубила бокал.

А Б. Ахмадулина недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. Актриса она блестящая, куда выше Женьки, хотя и он лицедей не из последних. Белла холодна, как лед, она никого не любит, кроме — не себя даже, а производимого ею впечатления. Они оба с Женей — на вынос, никакой серьезной и сосредоточенной внутренней жизни. Я долго думал, что в Жене есть какая-то доброта при всей его самовлюбленности, позерстве, ломании, тщеславии. Какой там! Он весь пропитан злобой. С какой низкой яростью говорил он о ничтожном, но добродушном Роберте Рождественском. Он и Вознесенского ненавидит (...); и мне ничего не простил.

3 сентября 1972 г.”

Вот какова была по наблюдениям либерала и юдофила Юрия Марковича Нагибина наша русскоязычная литературная тусовка 60–70-х годов прошлого века, дружно поддерживавшая в октябре 1993 года расстрел демократического парламента.

\* \* \*

В Тбилиси я вел легкомысленный образ жизни и вскоре стал желанным гостем во многих известных домах и своим человеком для многих представителей местной элиты, носивших славные грузинские фамилии.

... Я заходил в гости к седовласому Ладо Гудиашвили, знаменитому художнику, учившемуся в молодые годы живописи во Франции, который угощал меня каким-то редчайшим имеретинским мутноватым вином и водил по своей необъятной, с потолками эрмитажной высоты квартире с затянутыми паутиной потолками, показывая громадные — чуть ли не во всю стену — картины, где были изображены олени с изящно изогнутыми шеями и грузинские красавицы с шеями, не уступавшими по красоте линий шеям оленям.

По вечерам мы не раз пировали с отпрыском знатного рода Петром Багратиони, автором знаменитой в те годы песни “Тбилисо”, которую без конца исполняли во всех ресторанах, благодаря чему ее создатель имел свой столик и открытый счет в такого рода заведениях. Я тоже вносил свою лепту в атмосферу этих кутежей, когда Петр после исполнения его “Тбилисо” выходил на ресторанный подиум и объявлял всему залу, что его русский друг “Стасык” сейчас прочитает стихотворенье “Грузинские тосты”, которое написал только вчера после посещения (тут произносилось имя ресторана или духана, в котором мы находились):

*Давно не доверяющий словам,  
звучащим патетично и обманно,  
я поднимал доверчиво стакан,  
учился говорить высокопарно.*

*Высокопарно... Высоко парить...  
Забывший смысл угадываю снова.  
Учись красноречиво говорить  
и как вино, продегустируй слово.*

*Что говорить? А что придет на ум.  
Как говорить? Как на душу положит.  
Подковой золотой лежит Батум,  
и море это золото полощет.*

*А север пьет, словами дорожа,  
здесь хмурятся, свою судьбу поведав...  
на юге тосты ходят не спеша  
и азбукою служат для поэтов.*

*Не торопись. Спокойно постигай  
искусство говорить неделовито,  
не суетись и сердцем понимай,  
что так в горах рождается лавина,*

*которая смешает все подряд,  
а смешивать вино небезопасно  
в стране, где птицы высоко парят  
и люди говорят высокопарно.*

Стихи принимались на “ура” и в ресторане, и на улице, и в уютной квартире Фейгиных.

А утром в мой гостиничный номер стучался отпрыск знатнейшего грузинского рода Тархан-Моурави, узкоплечий, совершенно спившийся, но все равно знаменитый молодой человек с трясущейся головой, покрытой местами редким пухом, и мы шли в хашную (где посетители с почтением вставали при его появлении) и восстанавливали расстроченные в ночных кутежах силы при помощи граненой стопки чачи и янтарного хаши, колыхавшегося в грубых глиняных мисках (“пейте вдоволь, пейте двое – одному не надо пить!”).

Пить кофе мы заходили к Додиду Давыдову – блистательному фотохудожнику, сделавшему несколько моих портретов, которыми потом я оформлял московские издания своих книг. Меланхоличный Додик владел одной комнатой, но не где-нибудь, а на проспекте Руставели в громадной коммуналке старинного дома. Комната была одновременно его кухней, его спальней, его кабинетом и его фотоателье. Окна комнаты и днем и ночью были занавешены плотными темно-красными одеялами. В блаженной полутьме Додик чудодействовал при свете красного фонаря над своими ванночками, в которых плавали, постепенно обретая жизнь, то лики заезжих знаменитостей, то изображения грузинских проституток в таких позах, которые не снились ни Ренуару, ни Тулуз-Лотреку. Додик заманивал их к себе, чтобы снять обнаженную натуру и доказать всему миру, что их изображения в его исполнении есть вершина подобного жанра.

\* \* \*

Мой младший друг Сергей Алиханов, с которым я познакомился в Тбилиси полвека тому назад, написал печальную и саркастическую поэму “Плач по Мазурину”, который был колоритнейшей фигурой тбилисской жизни шестидесятых годов.

Одно такое произведение существует в русской поэзии: “Плач по Сергею Есенину” Николая Клюева. Не знаю, читал ли Алиханов клюевский шедевр, но в любом случае он сделал все, может быть, сам того не понимая, чтобышний раз подтвердить, что рано или поздно трагическая суть одной эпохи отзовется в следующей неизбежным фарсом:

*Вы летчик и боксер,  
любовник балерины,  
защитник, так сказать,  
прохожих и витрин.  
Вас выпестовал сброд  
родного Воронцова.  
Все верили:  
из Вас получится бандит.  
Все думали:  
почет и власть Вам предстоит,  
но погубило Вас  
бессмысленное слово.*

О поэте и художнике Гоге Мазурине рассказывали, что после войны он на каком-то боксерском турнире местного масштаба встретился с великим бок-



сером тех времен Николаем Королевым. Но так как их в тяжелом весе было лишь двое, то, когда они оба вышли на ринг, Мазурин, сделав пару движением перчатками, рухнул на пол перед чемпионом Советского Союза, который не задел его ни единым взмахом. Судья, как и положено, довел счет до десяти, и в результате Мазурин занял в тяжелом весе второе место после великого Королева, получил почетную грамоту, какой-то приз и, что самое главное – долгие годы ореол этой славы мерцал над его головой.

А что касается строки Алиханова “любовник балерин”, то мазуринский роман с немолодой, но знаменитой балериной Верой Цигнадзе протекал на моих глазах, когда она приходила в гости к Фейгиным со своим “бойфрендом” и молчаливо проводила вечера за столом, выбирая из вазы тонкими пальцами спелые виноградины и выслушивая тосты в свою честь.

Она приглашала нас в грузинский театр оперы и балета, и я в конце концов написал по просьбе Мазурина стихотворенье, прославляющее Веру в роковой роли несчастной Жизели.

*Танцуй, Жизель! Танцуй, пока с тобою  
любимый твой! Очерчивай круги,  
взлетай над ошарашенной толпою  
физическим законам вопреки.  
Последний круг. Не будет поворота  
обратно в мир. Уносит навсегда  
тебя, Жизель, предчувствие полета  
в пространство,  
в зал,  
на сцену,  
в никуда.*

Кроме “бессмысленного слова” и романов с балеринами Гоги Мазурин увлекся еще одним пагубным проектом: он решил стать знаменитым живописцем и нарисовал темперой на картоне несколько десятков картин, разоблачающих сталинские преступления. Пирамиды черепов, наподобие верещагинских, колонны арестантов, шествующих из лагерных ворот, вышки с охранниками, собаки-овчарки на снегу, тулупы конвойных – со всем этим модным джентльменским набором плакатных ужасов Мазурин отправился в Москву и даже добился выставки то ли в ДOME литераторов, то ли на Кузнецком мосту. О выставке что-то лестное было сказано по вражескому “Голосу Америки”. Выставку посетил сам Константин Симонов. Шестикратный лауреат Сталинской премии прошелся по ней с трубкой в зубах, одобрительно покачал головой и исчез. На этом попытка Мазурина ухватить за хвост жар-птицу славы закончилась. Опечаленный Мазурин вернулся со своими картонками в родную Грузию. Я встретил его в Москве перед отъездом сильно пьяного в баре Дома литераторов. Крупный, телесный, с лицом и подбородком, как будто вырубленными из смуглого камня, с гривой черных, жестких, словно конская грива, волос, с манерами неутомимого брачного афериста, он захотел в хрущевскую эпоху задолго до Тенгиза Абуладзе с его “Покаянием” разыграть антисталинскую карту. Но столько тогда появилось игроков более талантливых, более изощренных, нежели этот тифлиссский провинциал! Недоумение было написано на его лице: как же так? Вроде приняла его либеральная Москва с распростертыми объятьями и вдруг охладела? Может быть, потому, что картон – материал не для вечности, и писать на нем – все равно, что на заборе?

Мы выпили по рюмке и попрощались без лишних слов, я не стал ему говорить, что его “окна РОСТА” всегда были мне не по душе. Зачем сыпать соль на раны?

А все-таки человек он был незаурядный, послевоенный, простонародный. И не случайно его облик всплыл сегодня в моей стариковской памяти. Может быть, мы с Сергеем Алихановым последние в этом мире, кто помнит о том, что в наше время жил на белом свете обаятельный enfant terrible, тифлиссский кинто, незадачливый поэт и художник Гоги Мазурин. В алихановском “Плаче” его выставочная эпопея изображена таким образом:

*Мазурин! Два часа американский голос  
угрюмую Россию просвещал,*

*с глушилками его волна боролась,  
картинам Вашим на сыром картоне  
он славу и бесстрашье предвещал.  
И Вы свернули в трубочки картины  
.....  
и канули из выпренной Москвы.  
Да, многих прокормило ремесло.  
Поэзия загнала в гроб немногих.  
К числу забытых, жалких и убогих  
принадлежал Мазурин. Но сожгло  
его нутро отнюдь не вдохновенье.  
Он бросил в воды мутные забвенья  
две книжки неотесанных стихов.  
В них изобилъе очень сильных слов.  
Он там кричал, в экстаз входил и в раж  
и к вечности стремился приобщиться,  
а после долго бегал к продавицам,  
скупая в магазинах весь тираж.*

Каюсь, что я не читал этих книжек, потому что мы с ним после его неудавшейся попытки завоевать Москву больше не встречались. И что потом стало с его картинами на "сыром картоне", я не знаю. И не знаю, где и когда он был похоронен после своего последнего инфаркта. Но об этом знает Сергей Алиханов.

*Мазурин!  
Где-то там под зеленью густой.  
под праведной, под теплою землей  
лежите с миром Вы.  
Крест осеняет Вас,  
корнями тянутся к Вам сильные растенья,  
вас посещало в жизни вдохновенье,  
Бог миловал, но все-таки не спас.*

Последняя строчка, видимо, навеяна Алиханову гениальной лермонтовской эпитафией "На смерть князя Одоевского", умершего в Абхазии:

*"но свет не пощадил, но Бог не спас..."*

"Я человек холодного ума", — писал о себе Алиханов, юный очевидец тифлисской жизни тех лет. И он был прав.

\* \* \*

Почти все мои новые тогдашние друзья из грузинского еврейства работали либо в издательстве "Заря Востока", либо в "Мерани".

Впрочем это была традиция, сложившаяся при нэпе, которую Сергей Есенин, гостивший в Тифлисе за год до своей смерти, даже изобразил в шуточном стихотвореньи, сочиненном после нелегких, но все-таки увенчавшихся успехом усилий по изъятию из кассы издательства "Заря Востока" гонорара, столь необходимого поэту для существования в разоренном гражданскими распрями городе:

*Ирония! Вези меня! Вези!  
Рязанским мужиком прищуривая око,  
Куда ни заверни — все сходятся стези  
В редакции "Заря Востока".*

*Приятно видеть вас, товарищ Лифшиц,  
Как в озеро, смотреть вам в добрые глаза,  
Но в гранки мокрые вцепившись,  
Засекретарился у вас Кара-Мурза.*

*Поэт! Поэт!  
Нужны нам деньги. Да!  
То тупфи лопнули, то истрепалась шляпа,  
Хотя б за книжку тысячу дал Виран,  
Но разве тысячу сдержишь с Вирана?*

Вот так и я, переводивший для издательств “Заря Востока” и “Мерани” стихи действительно блистательных поэтов – Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Шота Нишнианидзе, Отара Чиладзе, приходил с утра в издательство и начинал выяснять его гонорарные возможности. В первую очередь надо было поговорить с редакторами – Борисом Гассом, Мишей Вайнштейном, Мишей Лохвицким, Аидой Беставашили, которая была в восторге от того, как я перевел по ее просьбе стихи Георгия Леонидзе. Однажды она выразила свои восторги в письме: “9 июня 1967 г. Стасик! я пишу о своем впечатлении от переводов Леонидзе. Оно очень сильное, и боюсь, что в письме всего не выразишь. Если в двух словах, то “Есенин”, “Солнце Грузии” и “Солнце кровоточащее” – великолепны. А остальные четыре – задумалась, как бы определить их, и тоже решила, что – великолепные, только по своему, по-другому. В “Есенине” есть такие блистательные вещи, как – “мчатся сани, кони храпят, бубенцы то поют, то плачут, вьюга бесится, дни горят, **жизнь гуляет, а юность платит**”. Или – “Я кричу ему: не спеши в петлю лезть соловьиным горлом”. Или конец. Чтобы не переписывать всего стихотворенья, просто поблагодарю тебя за него и за всю “великолепную семерку”. Посылаю “Ниноцминду”, помня о том впечатлении которое произвело чтение его на встрече с институтом литературы <...> Еще посылаю 3 стиха Отара, как всегда прекрасных. Книгу твою “Метель заходит в город” девицы мне зачитали вконец, пропагандирую я Вас изо всех сил и не без успеха. А впрочем, слава Ваша в этом не очень и нуждается, Все наши – и Миша, и Майя, и Камилла кланяются тебе. Большой привет от Марики Чиковани. Она готовит для тебя много подстрочников посмертных (и чудесных!) стихов Симона, которые должны выйти отдельной книгой.

*Пиши, переводы, присылай. Аида”.*

Скоре она переехала в Москву и после дискуссии “Классика и мы” перестала со мной здороваться. Sic transit gloria mundi! Римляне – правы. А переводил я не жалея времени и вдохновения, настолько хорошо, что грузины в конце концов оказали мне высшую честь, издав в Тбилиси книгу, из трех разделов: мои собственные избранные стихи, мои стихи о Грузии и мои избранные переводы из грузинских поэтов. “Золотые холмы” вышли в блистательном оформлении тиражом в 7 тысяч экземпляров, издательство было передо мной в долгу, и главная моя задача теперь заключалась в том, чтобы получить гонорар и расплатиться за гостиницу, где администраторы уже хмуро поглядывали на безнадёжного должника.

Когда я узнавал от моих еврейских “агентов”, что денежки в издательской кассе есть, то смело шел в кабинет директора издательства Карло Каладзе. Он сидел за дубовым письменным столом, обрамленный короной седых, падающих на плечи кудрей, похожий телом на огромный бурдюк. Его тучное тело – в поясе не менее чем в два обхвата. Когда Карло выходил из-за стола, оно опиралось на две коротеньких ножки.

– А, Станислав, ну рассказывай, с кем выпивал вчера, где гуляли? Смотри, будь начеку с нашей молодежью – с Резо Амашукели, с Гурамом Асатиани, тебе, москвичу, перепить их невозможно!

– Карло Ражденович! – вклинивался я в его монолог, – за гостиницу задолжал, в буфете в долг питаюсь. Ну и приходится ужинать за счет грузинских поэтов. Сегодня уже приглашен на ужин в “Белый духан” братьями Чиладзе. А там ведь без вина не поужинаешь. Подпишите, батона Карло, распоряжение в кассу! – Но хитрый Карло, который ждал от меня перевода его поэмы о создании колхозов в Грузии, являвшейся, на мой взгляд, скверной копией “Страны Муравии” Александра Твардовского, всячески избегал разговора об авансах, пока я не закончу перевод. Когда я приносил ему очередную главу и читал ее вслух, Карло молча слушал, вытирая пот, катившийся с его красного разгоряченного лица, потом протягивал руку, брал мои странички, сопя, читал их, медленно шевелил губами, потом делал скорбное лицо:

– У Пастернака лучше! – и печально замолкал, как бы забывая о моих финансовых притязаниях. А дело заключалось в том, что в 30-е годы, на мою беду, одну из глав поэмы перевел Борис Пастернак, и с той поры Карло браковал все попытки перевести его эпохальную поэму на русский язык. Но я решил покончить с этим пастернаковским комплексом:

– Батоно, почему у Вас такое красное лицо?

– Давление, Станислав, давление! – горестно вздыхал Каладзе.

– Борис Леонидович Пастернак, – жестоко продолжал я, – умер, и нового Пастернака с таким давлением Вы не дождетесь. Я перевел поэму не хуже его. Подписывайте платежку, Карло Ражденович!

Окончательно раздавленный моими доводами, папа Карло дрожащей рукой поставил на платежке закорючку и протянул мне листочек.

– В кассу? – радостно спросил я.

– Нет, кинто, – горестно уточнил папа Карло, – к Марку Израилевичу!

Марк Израилевич был точь-в-точь клоном или ближайшим родственником финансового министра из “Зари Востока”, которому посвятил стихи Сергей Есенин. Он покрутил платежку перед близорукими глазами, ощупал ее, понюхал, словно не веря, что его директор совершил такую грубую ошибку, допустив меня к кассе. Потом, видимо, убедившись, что перед ним не фальшивое авизо, а подлинный документ, черкнул на платежке свою закорючку и поднял от стола лучезарный лик, обрамленный, как у Каладзе, венчиком белоснежных прядей, и, словно награждая меня орденом, привстал, протягивая мне платежку:

– Поздравляю Вас, молодой человек! Идите в кассу! – и снова уложил свое тело, очертаниями повторявшее тело Каладзе, в кресло. Субординация была соблюдена – Карло Ражденович царствовал, а Марк Израилевич управлял, будучи одновременно министром финансов у подножия царского трона.

\* \* \*

Однажды осенью я вместе с Гурамом Гвердцители, Гурамом Асатиани и Борей Гассом, прослышав, что в Ереване открылась выставка модного в интеллектуальных кругах художника Роберта Фалька, уселись в “Волгу” и покатали к Пушкинскому перевалу.

Ехали весело, останавливались в придорожных забегаловках, закусывали армянский коньяк севанской форелью и потому едва-едва успели на выставку. Потом, правда, заглянули в мастерскую Мартироса Сарьяна, а ночевать – поскольку в ереванских гостиницах для гостей из Грузии не нашлось места – нам пришлось в пустующем Доме творчества в селении Цахкадзор... Я подзабыл подробности этой поездки, но, к счастью, недавно мне попала в руки книга Бориса Гасса, изданная в Лондоне, где он вспоминает:

*“Всю ночь мы резались в карты и пили коньяк.*

*Утром Стасик Куняев, которому “опостытели эта Армения и мытарства”, улетел в Москву. Ну а мы помчались домой, в Тбилиси.*

*Вскоре я получил от Куняева почтой книгу со стихом, написанным на форзаце от руки:*

*Я помню, помню, Боря Гасс,  
Я видел это сам воочию,  
Как выжимал ты полный газ  
В Армении осенней ночью.*

*Армянский национализм  
Нам, правда, кое-что испортил,  
Но мы всю ночь рубились в покер  
И пили... Словом, не сдались.*

Меня тогда резанул его шовинизм по отношению к армянскому чувству национальной гордости, но кто мог предположить, что эти искорки разгорятся в пламя антисемитизма и приведут С. Куняева в “Огонек”? Впрочем, Василий Аксенов как-то при мне назвал его охотнорядцем. В результате оба они ходили с синяками под глазом...

Многое сходит с рук в общем-то серенькому парню и посредственному поэту Станиславу – даже то, что взятые им напрокат у М. Светлова слова “добро должно быть с кулаками” прославили не автора, а Куняева. . .”

Смешно, конечно, что Гасс увидел в в моем шуточном стишке “шовинизм по отношению к армянской национальной гордости”, стилистику оставляю на совести автора, как и его комментарий к нашей ссоре с Аксеновым, которая на самом деле выглядела так: как-то с утра грузинские поэты подъехали к нам в гостиницу и уговорили “поправить головы” – съесть по горячей миске хаши и выпить по стаканчику чачи. Мы спустились на первый этаж в ресторан, который был еще закрыт. Но для желанных гостей. . . Словом, вскоре мы сидели в громадном пустом зале и подымали тосты друг за друга.

Василий Аксенов, сидевший напротив меня, быстро захмелел и совсем некстати, вспомнив московскую жизнь, начал ругать моего друга Анатолия Передреева, имя которого почему-то возникло за столом. И что поэт раздутый, и что пьяница и хам, и антисемит. . . и вообще, – вдруг, распалив себя до предела, заключил Василий Павлович, – вы все любимцы черносотенного ЦК – и Передреев, и Кожинов, и Фирсов! Все вы там днюете и ночуете!

Увидев, что грузинские поэты внимательно слушают его речь и что-то мо-тают себе на ус, я сразу отрезвел и перебил Аксенова:

– Знаешь, Вася! Ни Передреев, ни я в ЦК дорогу не знаем. Но я допускаю, что если Володя Фирсов идет к Суслову с парадного входа, то в это же время Евтушенко или ты с черного хода от Суслова выходите!

Взбешенный Аксенов перегнулся через стол и попытался вlepить мне пощечину. Но я был трезвее – успел уклониться, а мой ответный удар оказался более точным.

Падая со стола, зазвенели тарелки и бокалы. Соображая, что завтрак окончен и что надо избежать окончательного и крупного скандала, я рывком поднялся из-за стола и пошел через зал к выходу. Аксенов, вырвавшись из волосатых рук Бори Гасса, бросился за мной вдогонку. Я уже был у входной двери и мог бы уйти, чтобы избежать скандала, но на нас глядели ошеломленные грузинские поэты, и я понял, что сегодня же весь город узнает, что Станислав Куняев убежал от Аксенова! Я развернулся спиной к стене ресторана, обитой коричневым дерматином, и тут же мне пришлось, как боксеру, уклониться от аксеновского кулака раз-другой, одновременно отвечая ему своими мгновенно воскресшими приемами уличной драки. Когда подбежавшие грузинские друзья рязняли нас, синяков и ссадин на его лице было все-таки больше, чем на моем. Вечером нам обоим нужно было выступать в драматическом театре. Дабы спасти положение, жена Окуджавы Оля по просьбе Булата позвала нас к себе и умело при помощи крема и пудры заштукатурила все повреждения на наших лицах.

. . . Когда мы прилетели с Васей в Москву, то тут же во Внуково двинулись в буфет, взяли бутылку коньяку и долго изливали друг другу душу, мирились, обнимались. . . Но, конечно же, трещина между нами с того тбилисского утра постепенно становилась все шире и шире.

\* \* \*

Однажды в разговоре с Межировым я заметил, что Грузии повезло, поскольку в ее литературной элите немало образованных и талантливых представителей еврейского племени, вросших в грузинскую почву.

В ответ Александр Петрович даже с некоторой гордостью добавил, что и в жилах Багратидов была еврейская кровь, и потому грузинская община одна из самых древнейших на Кавказе.

У Межирова как раз незадолго до моего появления в Тбилиси вышла в издательстве у Марка Златкина толстая книга – стихи о Грузии и переводы из грузинских поэтов. На обложке был изображен автор – с крупными губами, курчавой складкой волос, с узким миндалевидным глазом от переносицы до уха. . . Словом, это бы почти наскальный рисунок в профиль древнего египтянина из Долины Царей. Рисовал Межирова модный в те годы художник Юрий Васильев, который до предела выявил семитскую сущность персонажа, что, конечно, не было случайным капризом художника. Этим изображением художник как бы посылал знак грузиноязычной еврейской интеллигенции, что-

бы она понимала, кто есть кто, после чего Александр Петрович стал в Грузии своим человеком...

А то, что грузинские евреи народ начитанный, я понял, когда румянощекий, усатый Боря Гасс, увидев в моем гостиничном номере цветаевский сборник “Лебединый стан”, подаренный мне в Москве одним американским филологом (впоследствии оказавшимся сотрудником ЦРУ), ахнул от восторга, и я, зная, что если уж что дарить, то такое, чтобы самому было жалко, протянул ему драгоценную книжечку и щедро, по-грузински, сказал: “Дарю!” Боря прижал сборник к сердцу и тут же побежал в буфет за коньяком, чтобы сделать дарение необратимым фактом. А с Фейгиными – Эмой и Симой последний раз мы встретились в Дубултах, в середине 80-х годов, когда советский корабль, расшатанный усилиями многих его пассажиров, уже скрипел вовсю и кое-где в нем появлялись течи. Семья Фейгиных уже знала про мои художества на дискуссии “Классика и мы” и о письме в ЦК по поводу “Метрополя”, да и я знал, что их любимый племянник Марик стал диссидентом и то ли уехал, то ли собирался уехать в Израиль. Тем не менее, мы обменялись грустными улыбками, я купил арбуз, навестил их в номере, мы съели арбуз, вспоминая о лучших временах. Разговаривал я лишь с Симой, Эма говорить не мог, у него был рак горла, мы обнялись и расстались, понимая, что больше не увидимся никогда.

\* \* \*

“Воспоминанье прихотливо”, как писал Владислав Ходасевич, и всех грузинских евреев я сегодня вспоминаю с нежностью. И молчаливого волшебника Додика, который прожил жизнь в комнатке с окнами, занавешенными байковыми одеялами; и худого, надменного Владимира Мощенко, о котором Межиров написал: “а у Мощенко шахматный ум, он свободные видит поля”; и похожего на пингвинчика с усиками Гию Маргвелашвили, златоуста, тамаду, красная; и Марка Израилевича Златкина – скупого рыцаря издательской кассы, оберегавшего нас от мотовства и неуважения к твердой советской валюте; и даже Бориса Гасса, как бы скверно он ни отзывался обо мне в своих мемуарах, за его благоговение перед обликом Марины Цветаевой. И, конечно же, мне мил Георгий Мазурин – человек неизвестной национальности, в белой рубашке, с грудью, увитой черным курчавым волосом, похожий в профиль на вепря, с тяжелым золотым перстнем местной работы на толстом безымянном пальце левой руки.

Воспоминанье прихотливо... Начал я эту главу размышлениями о противоестественной вспышке антисемитизма в Тбилиси, когда отряд центурионов, словно стая коршунов, набросился на толпу несчастных демократов, объединенных именем Бадри... Бедный Бадри не выдержал такого надругательства над своим именем в родном Тбилиси и умер от огорчения в туманном Альбионе. А теперь над его наследством, как коршун, кружит бывший его партнер, а ныне оголодавший хищник Борис Березовский...

Ну добро бы холопы Саакашвили обвинили Бадри, в чем он действительно виноват: в преступной приватизации, в присвоении совместно с Березовским общенародной собственности и т. д. Но нет, это справедливое обвинение не интересовало грузинских опричников: они обвинили Бадри-Аркадия в том, в чем нельзя обвинять человека: поиздевались над его происхождением, с криками “Урия!”, “Жид!”, “Жидовская мать!”... Бедная Грузия... Бедные Багратиды... Бедный Бадри...

*(Продолжение следует)*